

ДЕНИС СДВИЖКОВ

ЗНАЙКИ И ИХ ДРУЗЬЯ



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

ЧТО
ТАКОЕ
РОССИЯ

Что такое Россия

Денис Сдвижков

**Знайки и их друзья.
Сравнительная история
русской интеллигенции**

«НЛО»

Сдвижков Д. А.

Знайки и их друзья. Сравнительная история русской интеллигенции / Д. А. Сдвижков — «НЛО», — (Что такое Россия)

ISBN 978-5-44-481456-7

Слово «интеллигенция» – русский латинизм, а само явление обладает ярко выраженной российской спецификой. Интеллигенцию в России традиционно оценивали по гамбургскому счету. Ее обожали, перед ней преклонялись, ее критиковали, унижали и уничтожали всеми возможными способами. Безусловно одно: интеллигенция стала основанием русской культуры Нового времени и мощным международным брендом. Но кто он – русский интеллигент: властитель дум или высокомерный и оторванный от жизни «знайка»? Была ли интеллигенция уникальным российским явлением? Как она соотносилась и взаимодействовала с образованным классом других европейских стран? Сопоставляя ключевые понятия и идеи этой влиятельной социальной среды, автор книги создает ее словесный портрет в европейском интерьере. Денис Сдвижков – кандидат исторических наук, научный сотрудник Германского исторического института в Москве, автор работ по истории России и Европы XVIII – начала XX веков.

ISBN 978-5-44-481456-7

© Сдвижков Д. А.

© НЛО

Содержание

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ	5
ПОСТОЯННАЯ ПЕРЕМЕННАЯ	7
ЛЮДИ ЗНАНИЯ	12
НОМО POSTULANS – ЧЕЛОВЕК ВОПРОШАЮЩИЙ	19
ОТКУДА МЫ?	19
Просвещение, или Миром правит мнение	19
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Денис Сдвижков

Знайки и их друзья. Сравнительная история русской интеллигенции

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Мы интеллигенция, потому что мы много знаем.
Николай Константинович Михайловский

Finster kam dieser Jäger zurück aus dem Walde der Erkenntnis.
(«Мрачным возвратился этот охотник из леса познания».)
Фридрих Ницше

– Ну и что это? Что за «знайки», милейший? Полагаете, оригинально, читатель клюнет? Все уже давно устали от глумливого тона. Да и какой толк пинать то, что и так осталось в истории?

– Извольте, объяснимся. Писать об интеллигенции так же, как о других исторических феноменах, сложно. Вы или чувствуете себя частью (наследником?) интеллигенции, или находитесь к ней в сознательной оппозиции. Нужна дистанция, «остранение». Осталось в истории, говорите? В этом-то и вопрос. Одно дело, когда традиции интеллигенции действительно в прошлом, как в Германии с ее «образованным бюргерством» (*Bildungsbürgertum*). Или в самой России с историей дворянства, прочно осевшего среди «бывших». Но интеллигенция? «Интеллигенция все еще остается горячей темой», – начинают свой итоговый труд о ней польские коллеги. Пусть так, как о неостывшем трупе, но и у нас, как в Польше или во Франции, в дебатах о смерти и воскресении интеллигенции копья ломаются и по сию пору. В этих дебатах преобладали, с критическим ли, хвалебным ли оттенком, обертоны патетики и эссеизма, а в сердцевине всегда было некое кредо.

«В сущности все мы пишем для самих себя, то есть для русской интеллигенции, а я еще кроме того собираюсь писать об этой самой интеллигенции», – по-прежнему можно повторить вслед за автором эпиграфа Николаем Михайловским («Письма об русской интеллигенции», 1881). И объект описания, и аудитория, и слова, которыми интеллигенция описывается, – все существует внутри ее собственного поля. Чего уж там, «интеллигентский дискурс есть своего рода метаязык русской культуры, порожденный ею и семантически от нее зависимый» (М. Ю. Лотман). Любая книга об интеллигенции – саморефлексия, в том числе и в этом тексте вашего покорного слуги. Что делать?

Размышлять о размышлениях – порочный круг, вытаскивание себя за волосы из болота. Дистанцию дает ирония, или, если угодно, самоирония. «Жизненная правда, – написал один немецкий интеллигент (Томас Манн) об интеллигенте русском (Чехове), – по природе своей иронична». Лермонтов чувствовал тут показатель зрелости общественного сознания: публика, которая «не угадывает шутки, не чувствует иронии», похожа на провинциальную барышню – «молода, простодушна» и «дурно воспитана».

Серьезность не зря имеет среди эпитетов «убийственная» – убивается критический анализ. Взявшись за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке, сложно видеть в своих рукопожатных коллегах объект критического исследования. Тот же убийственный эпитет, правда, приложим и к иронии. Поэтому оговорюсь, что, несмотря на пояснение М. В. Ломоносова для нового тогда слова, «ирония» вовсе не «есть глумление». Последнего интеллигенция не заслу-

живает, потому что мы имеем дело с великим, на сей раз без всякой иронии, и общеевропейским проектом.

Если так, нужен широкий контекст, а его может дать только сравнение. Эта книга выросла из другой, для немецкого читателя, написанной как сравнительная история европейской интеллигенции в ее золотой XIX век, включая российскую. Теперь я собираюсь продолжить предприятие, адресуясь к русскому читателю. Сомнительные стороны понятны, извиняющийся тон с проходными терминами вроде «импрессионизм» или «общие контуры» неизбежен. Видом с птичьего полета была уже предыдущая немецкая книга. Здесь, без привычных сносок, в популярной и сокращенной форме, получается вообще вид из космоса.

Ну и ладно. Не самый плохой вид, в конце концов. При близком рассмотрении любые идеальные модели в применении к конкретным случаям оказываются не идеальными. Традиции, интересы и модели национальных исторических школ также накладывают неизбежный отпечаток на общую картину – а в нашем случае это заметно особенно. Тут как в известной притче о слепых мудрецах со слоном: из того, что каждая часть разная, не следует, что слона нет целиком. Но и просто открыть глаза, чтобы его увидеть, тоже не получится. Так что неизбежно придется домысливать, обобщать и представлять. Для такого рода предприятий хорошо подходит французское понятие *aventure intellectuelle*, «интеллектуальная авантюра», со всем захватским шлейфом значений последнего слова. В космос так в космос – поехали.

ПОСТОЯННАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

Что такое Россия? Положим, на этот вопрос можно было бы задать встречный: а какая, позвольте, Россия имеется в виду? Если использовать бинарный код, Россию Один олицетворяет государство Российское. Тогда Россия Два – понятное дело, «другая Россия». Россия культуры, «духовности», Пушкина, Толстого и далее по списку. «Я нашел свою родину, – делится некогда невероятно популярный (Луначарский прочил его в 1917-м ни много ни мало в «президенты республики»), а ныне подзабытый В. Г. Короленко, – и этой родиной стала прежде всего русская литература». Так вот: «ей единственной мы верны».

У той России свои учредительные мифы, у этой свои. У той своя слава, у этой своя. И отношения между ними, мягко говоря, непростые. Россия Один и в имперском, и в советском исполнении норовила приручить, а могла и отрицать правомерность существования интеллигенции: «Ради Бога, исключите слова „русская интеллигенция“, – пишет обер-прокурор Победоносцев министру Плеве. – Слова „интеллигенция“ по-русски нет, Бог знает, кто его выдумал, и Бог знает, что оно означает». Главный факт для истории русской интеллигенции – что она и есть учредительный миф, краеугольный камень «другой» России.

Сначала эта инаковость России Два была равносильна европейскости. «Россия есть европейская держава», – провозгласила, как известно, власть устами императрицы Екатерины II в ее знаменитом «Наказе» депутатам Уложенной комиссии (1767). И «доказательством сему следующим» служило то, что «нравы и обычаи» – а стало быть, именно культура в широком смысле – у нас европейские. Начало словесной истории *интеллигенции* в русском языке отмечено упоминанием в дневнике В. А. Жуковского в 1836 году «русской европейской интеллигенции». Да и в дальнейшем периодически звучат голоса, утверждавшие, как П. Н. Милюков, что «интеллигенция вовсе не есть явление специфически русское». И, однако, чем далее интеллигенция утверждалась в своей роли сердцевины «другой России», тем более сама логика учредительного мифа требовала определить привязку по месту в рамках «особого пути».

Началось еще с народников: «Будемте самобытны, осмелимся иметь термины и понятия, Европе неизвестны. По-моему (по Н. К. Михайловскому. – Д. С.), в самой наличности этого нескладного на русское ухо слова есть нечто отчасти утешительное, отчасти прискорбное и, во всяком случае, обусловленное особенностями русской истории». «Наша русская интеллигенция, настолько характерная, что дала иностранным языкам специфическое слово *intelligentsia* (в транскрипции русского слова)», – писал в феврале 1945 года в «Литературную газету» слабеющей рукой В. В. Вересаев. Дело было не в автаркии СССР и назревающей борьбе с космополитизмом. «Понятие это чисто русское», – продолжал Д. С. Лихачев в письме в «Новый мир» во вполне космополитическом 1993 году. И сколько бы ни писалось в опровержение «особости», все равно вплоть до последнего общеизвестно, что понятие «интеллигенция» – это русское изобретение» (цитирую предисловие книги 2019 года).

Западная мысль в сем случае охотно соглашалась. Da-da, «интеллигенция – русское слово, оно придумано в XIX веке и обрело с тех пор общемировое значение. Сам же феномен со всеми его историческими, в полном смысле слова революционными, последствиями, по-моему (в данном случае по Исае Берлину. – Д. С.), представляет собой наиболее значительный и ни с чьим другим не сравнимый вклад России в социальную динамику».

Но – предостерегающе поднимался далее указательный палец – это из-за хронического отставания модернизации России и следующего из него не менее хронического конфликта между образованным обществом и государством. Мелькало рано или поздно ключевое слово «отчуждение» (*alienation*). В «нормальном» случае современного (извините, но придется за неимением лучшего употреблять это слово) демократического общества функции интеллигенции выполняют интеллектуалы или эксперты в составе среднего класса, буржуазии, в лоне граждан-

ского общества. Образованный слой России же, разойдясь с государством, вынужден взять на себя несвойственные ему функции. Он радикализуется, воспринимает деструктивные особенности социально-политической культуры «глубинной» России, превращается в секту доктринеров. В этой оптике 1917 год фактически предопределен. Лишь с пересмотром взгляда на «особый путь» России и новыми данными исследований о развитии в империи «гражданского общества» и роли в нем «рядовой» интеллигенции стали множиться сомнения в этой стройной схеме.

Сравнивая, мы без труда обнаружим, что любая национальная интеллигенция убеждена в своей особости, пусть и в разной перспективе. Французские образованные элиты утверждали (да что там, утверждают) уникальность Франции как источника Просвещения и цивилизации. Немецкий образованный бюргер исходил из того, что феномен немецкого образования (*Bildung*) и науки (*Wissenschaft*) единственный в своем роде и не может транслироваться без потерь в другие культуры. Или еще ближе, у соседей за Бугом: для польской интеллигенции (*inteligencja*), убежден тамошний хронист межвоенной эпохи, «не найдется аналога ни в общественном укладе других стран, ни даже в самих понятиях западных людей». Знакомо? Знакомо. Что касается «особого пути», это вообще одна из самых банальных конструкций коллективного самосознания, с заменой разве что одних «роковых дат» на другие. Меняем 1917-й на 1933-й и получаем *Sonderweg*, особый путь по-немецки, в котором одним из основных подсудимых также выступала местная интеллигенция «образованного бюргерства». А польский «сарматизм», «бастион христианства», «нация без государства», распинаемый темными силами агнец европейской истории? А американское «явное предначертание» (*manifest destiny*)? А... (ну и так далее).

На самом деле мало какая другая история из российской жизни может лучше показать, что «правительство» в России – не «единственный европеец». Мало какая другая история настолько требует, чтобы ее писали как историю Европы. Термин, которым оперируют в отношении интеллигенции в России наряду с дворянством – «европеизированная элита», – описывает только часть этой истории, возникновение под европейским влиянием при посредничестве власти. Но это и история обратного влияния русской интеллигенции на Европу. Подтверждение которого справедливо видеть в обратном переводе с русского на европейские языки термина и феномена *intelligentsia* – и вот тут с Вересаевым можно согласиться. Сюда же выводила мысль Исая Берлина, когда он говорил о России как о чем-то вроде повышающего трансформатора идей: западные доктрины, «соприкоснувшись с неистощимым русским воображением <...> преобразенные, напоенные живительной силой, вернулись на Запад и оказали на него огромное влияние».

История интеллигенции подтверждает наше место в Европе, пусть для этого и придется расширить, как это теперь называется, «ментальные карты». Потому что, нравится это кому-то или нет, но для Европы, всегда существовавшей за счет балансов культур и интересов, органична идея множественности, а не закрытое «сообщество ценностей», каким ее теперь пытаются представить из геополитических соображений. Российская специфика при общей культурной основе в эту идею множественности легко укладывается. Так что возьмем и скромно обозначим жанр данной книги как европейскую историю России.

О времени: упомянув кратко другие ключевые этапы, я ограничусь в основном XVIII и «долгим XIX», «золотым веком» интеллигенции. В нем наиболее выигрышно складываются соотношения между растущим спросом на знание/образование и все еще эксклюзивным характером его приобретения, а равно между потребностью в новых индивидуальных и коллективных ориентирах и разочарованием от невозможности их найти.

...И о ноге в пространстве: изменение роли знания в обществе носит глобальный характер. Но в целом ряде стран европейского континента знание утверждается не только как автономная, а как ведущая сила в обществе. Это развитие инициирует сильное государство, кото-

рое делает ставку на роль знания как эффективного и быстрого средства модернизации сверху. В национальном проекте определяющей идеей тут служит «культурная нация». Предпринимательский средний класс, по крайней мере в культурной и политической сфере, отходит на второй план даже там, где он относительно хорошо развит. Такое соотношение – сильное государство, противоречивый престиж материального и безусловный культурного капитала – оптимально для интеллигенции.



При этих ограничениях из «большой пятерки» (*big five*) социальной истории знания Питера Бёрка я буду вынужден исключить англосаксонский мир Великобритании и США,

привлекая его материал лишь эпизодически. Несмотря на отдельные социальные феномены и понятия, близкие к нашему предмету, вроде *clerisy*, викторианских *public moralists* или академических «донов» (*dons*) Оксфорда и Кембриджа, интеллигенции в «континентальном» смысле здесь не наблюдается. Англосаксонская тема – академические эксперты, профессионалы (*professionals*), «белые воротнички». Для нашей темы этот мир представляет собой скорее периферию и исключение из правил, чем норму. Зато добавим к оставшимся Франции, Германии и России – Польшу. Или вернее, за отсутствием в этот период страны, польскую интеллигенцию. И потому, что ее положение между «грандами» представляет собой иную оптику. И потому, что для истории русской интеллигенции портрет ее сестры-соперницы особенно важен.

ЛЮДИ ЗНАНИЯ

Eh bien, mon prince, начнем с начала – со слова, вернее, слов. Слова в истории давно перестали считаться простым «отражением реальности». В виде ключевых понятий или концептов они стали основным предметом исследования исторической семантики и организующим элементом социальной и культурной истории. Слова в нашем случае – пусть не золотая рыбка, но нить в лабиринтах «мира мысли». Именно она обозначает нерв истории интеллигенции, в сравнении с которым мнимые видимости социальных реалий, выраженные в неизбежно фрагментарных таблицах и графиках, кажутся эфемерными. Посему прочие истории (культурная, социальная и – особенно – история идей) будут примыкать на правах важного, но контекста. Конечно, совсем без того, о чем думала и во что верила интеллигенция, не обойтись, но акцент будет поставлен не на *что*, а на *как*.

Что ж, устраивайся поудобней, дружок, будет не только много слов, но и много слов о словах. Очевидно, что интеллигенция обладает исключительными в сравнении с другими слоями и группами возможностями словесного самовыражения. «Открыв мир в слове, я долго принимал слово за мир... и, если я говорил „я“, это значило – я, который пишу», – мог повторить вслед за Жан-Полем Сартром любой интеллигент. «Слова», высказанные теми, кого в Средневековье называли «продавцами слов» (*venditores verborum*), служат не только для самоопи- сания. Ими пишутся и другие истории менее «выразительных» и «бессловесных» групп, да и в общем История с большой буквы. Они, слова, и в основе миссии интеллигенции: «Глаголом жги!»

Словесная зависимость таит в себе проблему частичной, а порой и полной неперевода- мости по-разному зафиксированного в разных культурах исторического опыта. Даже учиты- вая широкое заимствование культурами друг у друга концептов и постоянных взаимодействий между ними, трудно ускользнуть из «сада недоразумений» с его «словарем-обманщиком». Где *professeur* Сорбонны – это не немецкий *Professor*, польская *kultura* или русская *культура* – не немецкая *Kultur* и не французская *culture*, а *Bildung* (образование) в немецком или, скажем, *mind* в английском вообще не поддаются адекватному переводу. Недоразумения потерянного в переводе усугубляются разностью культурных традиций и резкими сдвигами в них. Петров- ская Россия глотала новую пищу для ума в спешке, не переваривая: иностранную мысль часто заимствовали вместе со словом, не стараясь найти русские эквиваленты. И лишь впоследствии язык решал, к чему он не привык, что облекать в родную речь, а чем («панталоны, фрак, жилет») возможно пренебречь. То, что русская *интеллигенция* осталась в ряду вестернизмов, конечно, так же неслучайно, как, например, приключения европейской *науки* в Китае: вари- анты перевода этого понятия в конфуцианской стране настолько расходились с оригиналом, что наиболее последовательные «западники» предпочитали говорить *saiyinsi*, имитируя *science*.

Так что и слова собственного языка в историческом измерении представляют собой зыбкую почву. Лексикона интеллигенции это касается в первую очередь, поскольку его ядро составляют сложные и отвлеченные понятия, необходимые в истолковании мира. Для их фор- мирования требуется время, совпадающее с временем становления общества Нового времени и его самосознания. Фокус долгое время плавает, формулировки зависят от контекста и личных предпочтений авторов, отражают разные культурные влияния и традиции. Не случайно рус- ский реформатор М. М. Сперанский в начале XIX века, прежде чем приступить к переменам, желает упорядочить язык, «чтобы к одним словам привязывать всегда одно и то же понятие».

Пока же разные социальные группы в России XVIII–XIX веков говорят на разных язы- ках не только в буквальном смысле, имея в виду французский и немецкий у дворян. Вроде бы в одном и том же русском языке *просвещение* в религиозном смысле отлично от светского употребления. То же с разницей между языком культурного слоя и массами. К примеру, *пош-*

лый – важное слово интеллигентского лексикона: когда Иван IV, сватаясь за английскую королеву Елизавету I, пишет ей (1570): «Ты пребываешь в своем девическом чину как есть пошлая девица», ничего пахнувшего дипломатическим скандалом Грозный не подразумевает, имеется в виду «действительная», «настоящая». В народном употреблении еще в 1880-х годах *пошлая девка* в словаре Даля отсылает к «дошлый, зрелый, возмужалый, во всех годах» – в общем, ничего предосудительного. Так же, как «пошлый мадригал», который Онегин шептал Ольге, подразумевал лишь заурядность, а не скабрёзность. Тогда как нарождавшаяся накануне великих реформ интеллигенция уже стояла на пороге столетней войны с *пошлостью* вполне в «нашем» смысле.

Понятия не только «отражают действительность», но и формируют ее. *Интеллигенция* после 1917 года – хороший пример: сам слой как социальная реальность к концу 1920-х годов практически перестал существовать физически, во всяком случае в границах СССР. Слово вместе с прочими *офицерами, камергерами, благотворительностью* помечается в советских словарях как «устар.». Однако с реабилитацией *интеллигенции* с середины 1930-х и возрождением в качестве классического канона русской культуры XIX века вокруг слова нарастают утраченные было культурные нормы. И люди, которые выбирают *интеллигенцию* в качестве самоидентификации, ориентируются на смыслы, заложенные «до того, как случилось то, что случилось» (изящное определение 1917 года Анны Ахматовой).

Итак, далее по тексту мы будем особо оговаривать, как, откуда и какие ключевые понятия в русском интеллигентском словаре появляются или меняют свое значение, как формируется лексикон и становится общенациональным. Тут, разумеется, не обойтись без избирательности и этого, как его, волюнтаризма: мы сосредоточимся только на словах, связанных с оформлением самосознания образованного слоя и его места в обществе, оставляя в стороне собственно философские понятия – даже такие, скажем, как *правда, истина* или *справедливость* (исключение сделаем разве что для *свободы* — см. сборники Н. С. Плотникова в Библиотечке).

Важно показать взаимные пересечения смыслов и форм между языками и культурами. Дополнительный бонус в том, что солидный задел истории понятий, в том числе русских, принадлежит зарубежным, прежде всего немецким, исследованиям, и посмотреть на историю интеллигенции через эту призму значит уже увидеть ее другими глазами и под иным ракурсом. То есть опять-таки через дистанцию и «остранение»: «Знаешь: потолок, па-та-лок, *pas ta loque*, патолог, – и так далее, – пока „потолок“ не становится совершенно чужим и одичалым, как „локотоп“ или „покотол“. Я думаю, что *когда-нибудь* со всей жизнью так будет».

Историки французские характеризуют интеллигенцию как *classeur inclassable*, что в вольном переводе подразумевает: раздающий имена не имеет имени. Неудивительно отсюда, что терминология мира мысли, по словам французского историка Жака Ле Гоффа, «никогда не отличалась определенностью». Уже Вольтер и Фонвизин пишут о туманности того, что подразумевают *ум* или *esprit*. Интеллигентские сообщества нередко названы со стороны. Французские «интеллектуалы», например, или русские «нигилисты», а до того «западники» и «славянофилы» – всё бранчливые словечки, пущенные в обиход их противниками и подразумевавшие сарказм. Часто авторство принадлежит государству, которое заинтересовано в четкой классификации общества. Так, безалаберные французские просветители в рапортах парижской полиции, исследованных Робертом Дарнтоном, именуются «ребятами» (*garçons*). В государстве сословий и чинов русская интеллигенция зачисляется в «разночинцы» – что, по сути, рубрика «остальное». В буржуазный век по всей Европе образованную элиту числят как составную часть «третьего элемента» или «среднего класса», в век масс именуют «прослойкой» между классами. Однако слова, относящиеся к собственной идентичности (самосознанию) этих людей, всегда привязаны к их главному социальному капиталу – знанию.

Добрались наконец до «Знайки» в заглавии. Помилуйте, да в ком лучше персонифицирована интеллигенция, как не в нем? Мозг и чувствилище Цветочного города. Взыскующий кам-

панелловского Солнечного Града (*Civitas Solis*), провозвестник «момента, когда солнце будет освещать землю, населенную только свободными людьми, не признающими другого господина, кроме своего разума» из философских грез г-на Кондорсе. Знающий себе цену, иногда заносчивый и нудный, но в общем мудро и отечески снисходящий к слабостям коротышек. Просветитель незнаек, вдохновитель и организатор масс, духовный лидер творческой интеллигенции (Тюбика и Гусли), земской медицины (Пилюлькина) и ИТР в лице Винтика и Шпунтика. Способный посрамить по экспертному знанию в научной дискуссии академика и ординарного профессора (Звездочкина), Знайка – представитель свободных профессий, фрилансер. Он пилюет на суету с высоты своей полной книг башни из слоновой кости по улице Колокольчиков. Чтобы у Знаек появилась миссия, нужны две вещи – новое знание и социум, где это знание находит применение.

Здесь мы рискуем провалиться в глубины дефиниций того, что есть *знание*. Примем пока на веру, что различия в роде знания второстепенны. Понятно, что оно социально обусловлено. Понятно, что оно может быть либо формализованным (сертифицировано, подтверждено дипломами, аттестатами и институционализировано) – и именуется тогда образованием, либо неформальным. Оно может быть утилитарным, бытовым (знание-как, *savoir-faire*) или академическим, интеллектуальным (знание-что); оно включает и ученость, и словесность.

Ключевой момент в том, что знание в сегодняшнем понимании, так же, как его прикладное развитие в образовании или науке, следует понимать как продукт исторического развития. Возникновение нового образа мышления в Западной Европе начиная с дальних подступов «схоластической революции» XII–XIII веков создает новый тип «человека познающего», как его назвал немецкий социолог Роберт Михельс, или «человека знания», по терминологии поляка Флориана Знанецкого. Это возможно только там, где мысль становится сущностной основой жизни личности (*cogito ergo sum*, мыслю – следовательно существую), и где для внешнего мира эта мысль признается реальной силой или властью (*knowledge is power*).

Обе цитаты, принадлежащие Рене Декарту и Фрэнсису Бэкону, поворачивают стрелку на Европу раннего Нового времени. Сначала в недрах европейского Средневековья происходят революции тихие, возникает социальная ткань городской жизни, университетские, профессиональные корпорации. У знания как категории нравственной – различения Добра и Зла, *scientes bonum et malum* ветхозаветной Книги Бытия – появляется нескромная компаньонка, воскрешающая Античность: любознательность, дух наблюдения и исследования. Грядущие в России с Петром I перемены маркированы головокружительной карьерой понятия *любопытство*. Неудержимое любопытство отличает самого реформатора: одно из самых распространенных выражений в дневнике Великого посольства в Европу с участием будущего императора в 1697–1698 годах – «зело дивно!» При Петре *любопытство* обрастает производными и попутчиками: заявляют о своих правах *куръез, интерес, остроумие* (К. А. Богданов). Как окончательная печать перемен, наряду с «Сапиенцией» (Мудростью) и «Циенцией» (Наукой) петербургскую Кунсткамеру венчают скульптуры «Адмирациса» (Удивления) – и «Куриозитаса» (Любопытства).

Перемены в сфере познания заявляют о себе затем как культурные и социальные перевороты Ренессанса и Реформации, а потом и политические революции, возникает феномен современного общества. Знание приобретает в нем не только утилитарные функции, но лежит в основании новых социальных механизмов, присваивает себе роль творца общества. Знание-как вырастает в просто Знание, так же, как искусство-умение вырастает в Искусство, каким его знаем мы, – отмечал для XVII века историк Мишель де Серто. Неслучайно и слово *intellectuals* (интеллектуалы) в этом же XVII веке впервые выходит из-под пера Фрэнсиса Бэкона.

Меняется направленность знания: не «о чем», а «для чего». Такое знание охватывает «тот конечный фрагмент лишенной смысла мировой бесконечности, который с точки зрения чело-

века обладает смыслом и значением». Роль же «людей культуры», – продолжим цитату Макса Вебера, – в том, что они призваны «сознательно занять определенную *позицию* по отношению к миру и придать ему *смысл* (курсив в оригинале. – Д. С.)».

Придать миру смысл – ясно очерченная миссия. В наступившей после вопроса «Что есть истина?» тишине в классе человек знания должен не молчать, а поднять руку и ответить громко и четко по существу. Понятия – ключевая часть этого ответа. В понятии «фрагмент мировой бесконечности» зафиксирован, *схвачен*, или даже так: им *завладели* – согласно с этимологией самого слова *понятие*, родственного с «взять», «иметь», в том числе в чувственном смысле, как и в немецком *Be-griff* или англо-французском *concept*.

Если верить немецкому историку Райнхарту Козеллеку, в ключевых понятиях Нового времени заложено – извините за неуклюжий каламбур – новое ощущение времени. Истина знаек маячит на горизонте ожидания, а не хранится в пространстве опыта: иными словами, эти понятия подразумевают, что будущее будет иным, чем прошлое. Новозаветное обещание о том, что «нет *ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано*» (Мф. 10:26) гуманист Эразм Роттердамский понимает не как конец времен, но приравнивает к афоризму «Истина – дитя времени» (*Veritas filia temporis*) из «Аттических ночей» античного эрудита Авла Геллия. Истина теперь связана с идеей исторического прогресса, множественностью, с вечным поиском и с теми, кто выходит на эту тропу охоты. На финальном отрезке пути в XX веке Андре Жид призывает нас верить «тому, кто ищет истину, и не доверять тем, кто ее нашел».

Сознание миссии осмысления мира сказывается в том, что интеллигент ощущает свою деятельность не только как профессию (*Beruf*), но как «призвание» (*Berufung*). Немецкого профессора и до сих пор «призывают на кафедру» точь-в-точь как протестантского проповедника. И глава Тринити-колледжа в Кембридже, к примеру, говорит в XVII веке о призвании (*vocation, calling*) в познании «тонких, глубоких, сложных и запутанных материй, недоступных для обычного наблюдения и восприятия». В этом смысле спасительная, моральная миссия нашей русской интеллигенции – безусловная разновидность вполне общеевропейского тренда. У нас так же, как, впрочем, и у польской интеллигенции, эта миссия выглядела моральным обязательством перед народом, которое накладывает на образованного человека полученное им образование. Окончил университет? Будь любезен соответствовать, проходить поприще и быть служителем идеи.

«Без вас, служителей высшему началу, живущих сознательно и свободно, человечество было бы ничтожно <...> Вы же на несколько тысяч лет раньше введете его в царство вечной правды, – говорит „черный монах“ у Чехова интеллигенту Коврину. И продолжает: – Истинное наслаждение в познании». Познание и творчество у интеллигенции превращается в едва ли не физиологическую потребность, постоянную жажду, неотделимую от эмоций и заставляющую вспомнить «похоть знания» (*libido sciendi*) блаженного Августина и «жадность к словесности» (*aviditas litterarum*) гуманистов Ренессанса. Флориан Знанецкий называет это *thrill* – кайф. Познание, повторимся, имеет в европейских языках и прямой греховно-эротический подтекст: «Позна же Адам Еву жену свою» (Быт. 4:25). Но главное – эрос познавательного вдохновения. «Я с головой окунулся в эту работу. Я испытывал радостное чувство творчества», – мог бы написать любой интеллигент. В данном же случае Ленин, стеснясь лирическим волнением, работает над ремейком «Что делать?».

Следуя дальше словесной канве, в поисках, какие формы принимала интеллигентская миссия, мы наткнемся на постоянную составляющую в терминах, обозначающих социальную роль «людей знания»: это «выражение» или «представительство». Репрезентация – способ мыслить мир опосредованно, в образах и отвлеченных категориях, тенями на стене платоновской пещеры познания. Поэтому *понятие, концепт* связаны с представлением, воображением, замыслом. Согласно мэтру Кембриджской школы истории понятий Квентину Скиннеру,

представительство/репрезентация – «базовый концепт» в общественно-политическом языке Нового времени. Становление *публичной сферы* немецкого философа Юргена Хабермаса связано со сдвигом в Новое время смысла «представительности» от «авторитетности» к политическому значению *представительной демократии*.

После Средневековья с его телом короля как сакральным воплощением высшей власти на земле и абсолютизма, где королевская кровать представляет собой центр государства, власть многих требует определить, кто этих многих будет представлять. В отличие от государственной власти, которая апеллирует к традиционной сакральной символике и четким – в основном визуальным – образам, власть знания носит абстрактный характер. И представляемое, и представитель определяются здесь нормативно и отвлеченно. Отвлеченность скрывает парадокс принципа как такового: представлять действительным, наличным (ре-презентировать) нечто, что на самом деле таковым не является. Слово для этих целей подходит больше, чем образ.

Люди знания представляют абстрактные сообщества (государство, общество, народ, нацию, страну, класс, человечество) и универсальные ценности, меняется лишь форма и соотношение между «выразителем» и «выражаемым»: *писатель и общество, литература и публика, интеллигенция и народ, мозг, дух нации* и т. п. В нередком случае, когда выразить было нечего, надо было сначала вдохнуть жизнь. Тут требовались *просветители, будители сознания* («разбудили Герцена»), *сеятель на ниве* или, на худой конец, «*неполживцы*».

В том же «Что делать?» Ленин еще не называл интеллигенцию нехорошим словом на букву «г», но писал, вполне по Марксу, что «образованные представители интеллигенции» должны «привнести» в рабочие массы «классовое сознание», которое и может быть «принесено только извне». К 1917 году это вышло в «партию – ум, честь и совесть нашей эпохи». Другие «привносители сознания» в пролетариат писали еще откровенней: «До 1905 года, – делится с нами жена меньшевика Федора Дана Лидия, – мы представляли себя как „источник“ истории, все остальное нам представлялось как „материал“, который потом «вырос и стал независимым существом».

Примерно такое же открытие сделали для себя после 1917 года в отношении «материала» и прочие интеллигенты: «На что нам интеллигенция, теперь мы сами подросли, малопомалу фамилию свою подписать можем», – заносит в 1929 году М. М. Пришвин в дневник подслушанную на уличном собрании реплику. Но ничего специфически русского и тут нет. Сбрасывать самозванных представителей с парохода современности или сажать их (как минимум на «философские пароходы») призывали и до того. «Какой прок слушать философов (*philosophes*)? – шумел, скажем, по адресу французских просветителей поэт Андре Шенье в 1791-м, за три года до собственной казни. – Их представления о человечестве, свободе, праве – мечтания, в которые сами они ни капли не верят».

Вместе с материальным капиталом знание становится основанием для узаконенного, политического представительства. Конституции XIX века прописывают наряду с имущественным образовательный ценз выборщиков. Но еще более представительские функции знания оказываются востребованы там, где с представительством политическим есть проблемы. «Мы, – сокрушался Денис Иванович Фонвизин о России за год до Французской революции, – не имеем тех народных собраний, кои витии большую дверь к славе отворяют <...> Какого рода и силы было бы российское витийство, если бы имели мы где рассуждать о законе и податях и где судить поведения министров, государственным рулем управляющих».

Развитие всех этих процессов можно видеть по переменам понятия «интеллигенции» (*intelligentia*). В глаголе *intel-lego* корень знаком многим по названию конструктора. Да-да, если очистить орешек интеллигенции до ядра, то в основе способность прочитывать мир и складывать его кирпичики в осмысленные и понятные яркие конструкции. В самом начале, во времена неоплатоников Античности, «интеллигенция» – это способность к постижению истины и суждению отдельной личности. Постепенно начинают действовать классические для

европейской культуры механизмы: антропоморфизации, то есть наделения свойствами человеческой личности социальных институтов, и трансляции, переноса личных свойств на общности.

«Интеллигенция» обозначает сначала коллективный разум, воплощенный в великих личностях. Словарь Французской академии начала XVIII века сообщает нам, что «под интеллигенцией (*intelligence*) в переносном смысле подразумеваются великие люди, обладающие выдающимися талантами и просвещением для управления» – подразумевая управление государством. Затем интеллигенция переносится на личность коллективную и общество. Разумность как главный признак жизни такого коллективного тела утверждается с переменной представлением о самом обществе. В XVIII веке общество мыслится «чувствительно», его центр составляет, по аналогии с церковным собранием, ектлесией, единый дух или *душа*. Эту душу может выражать государственное регулярство («порядок – душа общества»), политическая экономия («земледельцы суть душа обществу»), морализм («добродетель есть душа общества») – но в конечном итоге язык сохраняет лишь одно значение светского обхождения («герой преферанса или душа общества»).

С течением времени личность коллективная, как и просто личность, перестает мыслиться в категориях душевности: во второй половине XIX века – в России, похоже, для *интеллигенции* впервые в 1880-х годах у историка литературы С. А. Венгерова – появляется понятие *мозг нации*. И одновременно, перекрывая его масштабностью и направлением миссии, – *совесть нации*.

Общим разумом может быть множество, воплощенное в коллективных понятиях, как *философы* Просвещения, *интеллектуалы* XX века во Франции или *образованные сословия* XIX века в Германии. Но в эпоху, когда основным социальным проектом в Европе становится национальный, которому присущи иррациональные романтические мотивы, в этой роли утверждается воображаемое лицо в единственном числе (*persona ficta*). Появляются многочисленные варианты, формулирующие дух – ум, разум, гений – нации или народа, и мы получаем интеллигенцию в ее классическом виде.

Если политической миссией интеллигенции было представлять некую большую общность перед высшей инстанцией, властью и/или перед другими, чужими общностями (например, перед другими нациями), то в обратном направлении интеллигенция претендовала на роль посредника между этой инстанцией и массами. Уязвимость позиции предстоятеля и посредника не только в шаткости ее обоснования, но и в конкуренции с другими претендентами. Как традиционными элитами (дворянство, духовенство), так и новыми (средний класс). Но также в том, что интеллигенция в реальности встроена в старый порядок, который критиковала, и в случае революции она обычно оказывалась в положении проигравшей.

Вместе с высшей разумностью понятие *интеллигенция* обозначает коммуникацию, согласие, сбор информации, как, к примеру, в *Central Intelligence Agency* (ЦРУ). И в русском языке наш основной термин появляется в петровское время именно в этом контексте, как «секретная интеллигенция» (сначала с одним «л»). Так что, пойдя история понятия другим путем, мы вполне могли бы иметь, скажем, «Федеральную службу интеллигенции» или «Главное интеллигентное управление». Но и без того момент коммуникации и согласования в «интеллигенции» ключевой. Интеллигенция занята производством, передачей и хранением информации, это главный «коммуникатор» (П. Б. Уваров) общества, а коммуникация – основа существования и развития современного общества.

Без общения социальная идентичность непредставима. Но в нашем случае мы имеем нечто особое. В отличие от крестьянина, священника или дворянина, у представителя интеллигенции нет материально-правовых оснований для самоопределения, и он практически никогда не говорил о себе «я интеллигент». Собственно, даже «мы, интеллигенция» из начального эпиграфа на самом деле встречается крайне редко. Один из многих парадоксов: идентичность

человека, который считает себя эталоном автономии и независимости, в наибольшей степени зависит от внешней оценки других людей знания. Отсюда ключевая роль сетей общения общеевропейской образованной публики – *res publica doctorum* (в русском лексиконе XVIII века «ученая» или «письменная республика»); академической мобильности, начиная со средневекового обычая «ученого паломничества» (*peregrinatio academica*), взаимной переписки, общей читательской аудитории, собраний, кружков. И в общем феномена «общественности», гражданского общества.

А далее, отцы и учителя, рассуждаю так: если интеллигенция осознает себя коллективной разумной личностью, то будет правильным и изобразить ее историю как коллективный портрет в историческом интерьере, своего рода автобиографию. Рисовать коллективные портреты – задача для пишущей интеллигенции привычная: «Это, милостивые государи мои, точно, портрет, но не одного человека, а всего слоя в полном его развитии». Наш портрет будет портретом словесным.

Начнем с вопросов. Личные свидетельства представляют собой попытку ответить на вопросы, которые задает себе Я. Черты личности коллективной также определяют вопросы, начиная с вопросов о себе. Знайка – *homo postulans*, человек вопрошающий; его делает таковым любознательность и взятая на себя миссия ответить на главные вопросы. Всякая интеллигенция немыслима без того, что именуется в русском варианте «творческий непокой» или во французском *l' inquiétude* – неуспокоенность, духовное странничество, постоянная жажда знаний. «Просвещенный человек никогда сытости не имеет в познании своем», – задает норму жизни не что-нибудь, а «Духовный регламент» (1721) в России. А это значит – постоянная неопределенность. Стабильность, уверенность, покой для рыбок, живущих в мутной воде, смертельны.

Золотой век интеллигенции начинается с «Ответа на вопрос: что такое Просвещение?» Иммануила Канта (1784). Который, в свою очередь, определен кантовскими основными вопросами человека, познающего мир самостоятельно: Что я могу знать? Что я должен делать? На что я смею надеяться? и Что такое человек?

История русской интеллигенции, как мы помним, также размечена знаковыми вопросами, которыми она задавалась и которые задавала. Начиная с «Кто виноват?» А. И. Герцена (1846), «Когда же придет настоящий день?» Н. А. Добролюбова (1860), «Что нужно народу?» Н. П. Огарева (1861), далее – подсказывайте – правильно, «Что делать?» Чернышевского (1863) и к одноименному уже упомянутому ремейку Ленина (1902). Во все это время у нас в России, пишет Николай Михайловский, «поднялись длинной вереницей вопросы за вопросами»: крестьянский, земельный, балтийский, женский, еврейский, социальный и т. д. и т. п. Большинство со статусом «проклятых». Кстати сказать, последнее – германизм: «проклятые вопросы» появляются накануне Великих реформ как перевод *die verdammten Fragen* Гейне из его цикла «К Лазарю» (1854). И сначала, у Салтыкова-Щедрина, к примеру, они еще закавычены. Интересно, что в русской версии таковые приобрели общественно-политический нюанс, тогда как в оригинале у Гейне речь о вопросах философских («Так мы спрашиваем жадно / Целый век, пока безмолвно / Не забудут нам рта землёю»; перев. М. Михайлова). У нас же за метафизику отвечают вопросы с предикатом «вечные» и «последние», которыми была так славна русская литература и за пределами своей национальной аудитории. Затем наступает черед вопросов практических: Как нам реорганизовать Рабкрин? А обустроить Россию? Пакет? Карта магазина? Наклейки собираете? И, постоянным рефреном, о себе самих: что такое (следующий вариант – что же такое, да что же это, наконец, такое и далее *ad infinitum*) – интеллигенция?

НОМО POSTULANS – ЧЕЛОВЕК ВОПРОШАЮЩИЙ

ОТКУДА МЫ?

Схема «расцвета и падения», Rise & Fall, у современных историков не в чести, как любые схемы вообще. Что, в общем-то, хорошо и правильно. Однако ничего не могу поделать с тем, что история интеллигенции именно так по старинке и двигалась: как судьба, ракета и Римская империя, по параболе. После непрерывной восходящей в Новое время, миновав свой золотой век, траектория сменилась на нисходящую. На протяжении XX «века крайностей» интеллигенция, несмотря на все катаклизмы, а отчасти и благодаря им, все еще представляет собой активного самостоятельного исторического игрока. Это особенно сказывается в периоды общественных кризисов: 1968 год в Западной Европе, эпоха «Солидарности» в Польше, перестройка в СССР. Но одновременно уже во второй половине этого века начинаются дебаты о кризисе, а затем и смерти интеллигенции в ее «классическом» обличье. В новую эпоху и тысячелетие «вопрос интеллигенции» оказывается не то чтобы закрыт – просто общество теряет к нему интерес. Всем спасибо, все свободны. Было неплохо, а теперь давайте занавес; кто последний в гардероб. Миссия «придания миру смысла» осуществляется в других форматах и плоскостях.

Осмысление этого пути – кто и откуда мы – в нашем случае не сводимо к «отчичам и дедичам». Поскольку эти самые «мы» выходят за рамки национальной истории, в которых «наши» привыкли находиться. Общее интеллектуальное поле христианского Средневековья в Новое время, эпоху границ и наций, не исчезло, но функционировало по-иному через культурные взаимодействия. Внешнее влияние вызвало к жизни не только русскую интеллигенцию. Свет не всегда приходит с Востока или Запада, но «всегда, – поверим на слово Михаилу Леонovichу Гаспарову, – приносится со стороны». Это видно, между прочим, и по тому, что появление интеллигенции в национальную эпоху часто связано с реакциями на внешние события. Для истории немецкого образованного бюргерства таким триггером стало французское влияние и эпоха наполеоновских войн; история польской интеллигенции начинается с цитаты местного гегельянца в прусской части страны и разделяется на периоды в зависимости от национальных восстаний, а для истории интеллигенции русской, в свою очередь, наряду с западными влияниями важную роль сыграла реакция на «польский вопрос».

Просвещение, или Миром правит мнение

– *C' est la hallebarde qui mène un royaume.*
– *Est qui mène la hallebarde? C' est l' opinion,*
et c' est donc l' opinion qu' il faut travailler.

Мнение. В цитате выше диалог из парижского салона мадам де Помпадур середины XVIII века между неким анонимным легитимистом и основоположником школы физиократов, лейб-медиком короля Людовика XV и самой мадам де Помпадур Франсуа Кенэ. Легитимист негодовал по поводу конфликта между королем и парламентами из-за налогов, который в конечном счете привел Францию к революции. И высказался за «вертикаль власти»: мол, направление королевству дает алебарда! На что Кенэ парировал: «Ну, а алебарду кто направляет?» И, выждав риторическую паузу, отвечал сам себе: «Это Мнение, сударь, и над ним-то и надо работать».

Французы, как нередко в подобных случаях, опираются на английский исходник. Еще до Славной революции, в 1680 году, политик и публицист Уильям Темпл, в имени которого

работал секретарем Джонатан Свифт, пишет, что мнение – «истинная опора и основа всякого правления». Его соотечественник Дэвид Юм в середине XVIII века: «Так как сила [числа] на стороне управляемых, то у правителей нет никакой иной опоры, кроме Мнения».

В немецком обиходе XVIII–XIX веков *общественное мнение* не очень прижилось. Оно воспринимается как калька с французского. Кант в «Критике чистого разума» (1781) ставит знак равенства между «превратить труд в игру» и «достоверность превратить в мнение». Гегель в «Философии права» (1820) видит в *общественном мнении* свою любимую диалектику, но относится к *мнению* брезгливо, как к поиску жемчужины в навозе: «В общественном мнении содержится все ложное и истинное, но обнаружить в нем истинное – дело великого человека. <...> Кто не умеет презирать общественное мнение таким, как его приходится то тут, то там выслушивать, никогда не совершит ничего великого».

Русское *мнение* восходит к индоевропейскому корню, находясь в родстве с немецким *Meinung* или английским *mind, meaning*. В России до Петра I *мнение* – синоним слова *мысль*, и мнение может быть только индивидуальное. Его характерный синоним – *самомяние*. А антоним – замечательное *единоумие* («Да все самомяния и самосмышления упразднятся, останется же точию согласие и единоумие во всех», 1677). Только в послепетровской России XVIII века появляется коллективное, *общее* мнение, а *самомяние* теряет свой однозначно негативный оттенок: «Зачем же мнения чужие только святы?»

Образованным людям открываются широкие возможности. *Мнение* по определению неполно, анонимно, – а значит, необходимо и возможно на него влиять. Если бы «ястреб» в приведенном диалоге в салоне мадам де Помпадур поднатерел в подобных дискуссиях, он бы ответил на риторический вопрос Франсуа Кенэ своим вопросом: алебарду направляет мнение, ок, но ведь и мнением кто-то управляет? Вольтер знал кто: «Общественное мнение властвует в мире, но руководят этой владычицей философы», то бишь г-н Вольтер собственной персоной. Глагол «направлять» (*mener*), который используют собеседники у мадам де Помпадур, отсылает к метафоре общества как неостановимо, но хаотично движущегося объекта. *Направлять, направление* – действие, прилипающее к *мнению* вплоть до нашей эпохи политтехнологий. В низком регистре объект понимается как стадо: французское *mener* – от латинского глагола, обозначающего гнать домашний скот туда, куда нужно пастуху. Новым овцам – новый пастырь.

При всей политкорректности в образованном пространстве континента несомненно существование полюсов притяжения. Когда мы говорим о XVIII веке, имя Франции всплывает первым почти невольно. Франция и до сих пор, иногда тактично, иногда настырно обосновывает свое первенство среди равных и претендует на право первородства для интеллектуалов по меньшей мере Нового времени. И правда, даже зная теперь, что европейское Просвещение многолико и представляет собой, по сути, «просвещения» во множественном числе, «дизви-тьемисты» – исследователи XVIII века – не могут не считать отправной точкой Просвещения французское *Lumières*. Да и в следующем XIX веке Париж остается если не «Иерусалимом науки», как в Средневековье, то уж точно центром притяжения и точкой отсчета самосознания европейской интеллигенции.

Наука. В XVII–XVIII веках заложены основные постулаты и методологические основы науки Нового времени такой, как мы ее знаем. Понятие *науки* превращается в европейских языках из кабинетной «учености» в универсальную форму познания мира. Знание выстраивается в систему, начинает классифицироваться и систематизироваться. Знание обрастает структурами, причем по всему континенту эти структуры создает теперь государство. Для регулярного бюрократического государства наука жизненно важна как утилитарное, практическое знание. В этой форме оно воспринимается и москвитями: русское государство заинтересовано в технологиях и специалистах, прежде всего (как везде и всегда) военного назначения. Именно такой прикладной аспект подразумевает и наша *наука*: это приобретенное практическое уме-

ние, опыт. От «коли все знает добрая жена <...> своим добрым разумом и наукою, ино все будет спору» Домостроя XVI века и до «его пример другим наука» в «Евгении Онегине». Такое значение еще долго существовало параллельно с ученым толкованием слова, обиходным века с семнадцатого («в науках искусен»). Поэтому, говорит нам академик В. В. Виноградов, слово *научный* в современном значении появляется только с середины XIX века, когда в России складывается, наконец, полная структура соответствующего знания – вместо бывшего ранее в употреблении «наукообразный». И приводит рассказ лечащего врача Гоголя: «Не помню почему-то я употребил в рассказе слово *научный*; он (Гоголь) вдруг перестал есть, смотрит во все глаза <...> и повторяет несколько раз сказанное мною слово: „*научный*“, „*научный*“, а мы все говорим „*наукообразный*“; это неловко, то гораздо лучше» (в последнюю зиму Гоголя 1852 года).

Россия начинает заимствовать западные знания согласно давним заветам восточных отцов Церкви о языческой мудрости: «Не да веруем им, но да ведаем творимая у них» – то есть только как технические умения, импорт технологий. Через два века после нас этой же дорогой шел Китай, собираясь совместить западное прикладное знание (*юн*) с сущностью (*ми*) китайской культуры. Однако в любых подобных случаях быстро выясняется, что все несколько сложнее. Западная *science*, латинская *scientia* опирается на корень, подразумевающий различение, отделение (ср. наше *сечь*, *секатор*, или французскую *scie* (пила), разъятие, исторжение; последнее, кстати, дает и этимологическое родство науки с англосаксонским *shit*, увы). Так вот, чтобы придать миру смысл и выстроить из него связанные модели конструктора (*intel*)*lego*, требуется расчленить, выделить в этом мире, где все и всегда связано со всем, отдельные фрагменты в пространстве и времени, доступные для нашего мышления, *интеллигибельные*. Именно в этом процессе возникают понятия или ключевые слова, по которым, как по кочкам, мы движемся в нашем повествовании. Это определенное отношение к миру, которое не может не изменить людей, избравших его своим промыслом, и общество, в котором они вращаются.

Степень огосударствления мира знаний не всегда зависит от государственной бюрократии в такой степени, как у нас, когда научная иерархия меряется табелью о рангах, но тенденции в общем одни и те же. Из частной, общественной инициативы познание мира становится частью государственного резона. Во Франции ученые академии в Париже и провинции, ранее на общественных началах, стали получать королевские патенты и государственные деньги, с соответствующими последствиями. Так из частного кружка общения по инициативе Ришеля в 1635 году родилась Французская академия. Основанная в 1666 году вслед за английским Королевским научным обществом французская Академия наук менее свободна в исследовательских инициативах, чем английский аналог, а при Кольбере уже напрямую зависела от государственных директив. Учрежденная с подачи Готфрида Лейбница Петром I Академия наук в Санкт-Петербурге (1724) следовала той же модели, только в российском варианте она должна была сосуществовать с академической гимназией и университетом.

В сфере высшего образования, ключевой для будущей интеллигенции, французские университеты уже при Старом порядке стали терять автономию и включались в государственную систему образования. Высокая степень централизации и огосударствления стали отличительной особенностью этой системы и остаются до сих пор. Французское государство Старого порядка прилежно выстраивало параллельно и систему специального, преимущественно военного, образования. Как грибы после дождя появлялись друг за другом многочисленные «высшие школы», так что накануне Революции в королевстве насчитывалось больше прикладных образовательных институтов, чем где бы то ни было в Европе.

Общество

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.